

B. Pyrebe





Б И Б Л И О Т Е К А
С О В Е Т С К О Й
П О Э З И И

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Исаев Е. А., Кешоков А. П.,
Наровчатов С. С., Новиченко Л. Н.,
Туркин В. П., Федоров В. Д.**

БОРИС
РУЧЬЕВ

СТИХИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

P2
P92

Предисловие, составление и подготовка текста
Л и д и и Г А Л Ь Ц Е В О Й

Оформление художника
А. М Е Т Л Я Н С К О Й

© Предисловие, состав. Издательство «Художественная литература», 1981 г.

P $\frac{70402-214}{028(01)-81}$ — 70-81 4702010200

«ЖИТЬ НА ПОЛНЫЙ ВЗЛЕТ»

Творческая биография Бориса Александровича Ручьева восходит ко времени первых пятилеток, когда он осенью 1930 года семнадцатилетним комсомольцем приехал на строительство Магнитогорского металлургического комбината.

«Весь берег Урала до самого подножия горы Магнитной был усеян тогда походными палатками из белого, трепещущего на ветру брезента,— вспоминал Борис Ручьев.— Жили в них первые строители Магнитогорска, большая половина которых, самая юная по возрасту, только начинала свою рабочую жизнь.

Это и было мое поколение.

...Мы поверили в то, что непременно построим здесь самый огромный и самый совершенный мировой завод. Построим небывалой красоты город и превратим долину в цветущий сад...

Эта единая неистребимая вера и суровая работа во имя исполнения общих желаний сделали меня стихотворцем» («На берегу Урала», 1968).

Ручьев рано приобщился к книгам, особенно к поэзии. В доме родителей, станичных учителей Александра Ивановича Кривощечекова и Евгении Лаврентьевны Ереминой, имелась отличная библиотека и стихи были в большой чести. Любили читать классиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Никитина.

Многим обязан Борис своему отцу... Кривощечков был одним из образованнейших людей дореволюционного Урала и Зауралья. По роду своей педагогической и просветительской деятельности Александру Ивановичу приходилось много ездить по Уралу. Он любовно изучал историю, этнографию края, собирал фольклор. Его труды по фольклористике и этнографии до сих пор привлекают внимание специалистов. В начале десятых годов в Уфе и Троицке изданы сборники рассказов А. И. Кривощечекова; его стихи, очерки, заметки часто появлялись в местной печати.

В ту пору Александр Иванович был инспектором троицкого высшего начального училища. Здесь, в Троицке, в 1913 году у него родился четвертый ребенок, будущий поэт Борис Ручьев.

Дальняя родственница Кривошековых, Александра Дмитриевна Калашникова, всю жизнь проведшая в их семье, знала множество народных преданий, легенд, сказок, поверий и песен. «Помню, когда мы уже подросли, она и нас просила что-нибудь рассказать,— вспоминала сестра поэта, Г. А. Шумкова,— у меня получалось плохо, не хватало фантазии. Зато Борис обладал неиссякаемым запасом воображения, и рассказы его встречали одобрение у Александры Дмитриевны».

В этой атмосфере пробудилось у Бориса Ручьева влечение к творчеству. А любовь к фольклору сохранилась у него на всю жизнь. Фольклорные интонации, темы, мотивы и образы буквально пронизывают его произведения.

Об этой поре своей жизни Ручьев вспомнит в поэме «Прощанье с юностью» (1943—1959):

Рожденный при царе, крещен в купели
в дому столетнем прадедов своих,

где входят в кровь, как воздух, с колыбели —
желания, повадки, сказки их;
где по ночам — мы жались первым страхом —
выл домовый,

яга стучалась в дом,
змея пролетал над крышей и с размаху
хлестал по окнам огненным хвостом;
где нам, мальчишкам, бабки нагадали:
по золотым жар-птицыным следам
за самым верным счастьем рваться в дали
к премудрым людям, к дивным городам;
людские притчи помнить слово в слово,
пройти всю землю вдоль и поперек,
добыть в бою —

из золота литого
заветный, непродажный перстенок.

Учиться Борис начал в Троицке. В 1922 году он поступил сразу в 3-й класс начального городского училища. А через год семья Кривошековых переехала в станицу Звериноголовскую, к деду.

Здесь Борис продолжает учебу в школе крестьянской молодежи. Он отважился показать учительнице литературы свои стихи и, окрыленный ее поддержкой, стал писать много, не стесняясь товарищей, охотно отдавал сочиненное в школьный рукописный журнал и стенную газету.

За успехами своего первого поэта любовно следили не только школьники, но и жители станицы. Однако особенно ревниво наблюдал за его

«творческим ростом» крестьянский паренек Миша Заболотный (Люгарин), заполнивший тоже не одну тетрадь своими стихами. Любовь к поэзии сблизила мальчиков, и дружба эта, начавшаяся в 1925 году, сопровождала их всю жизнь.

В конце 20-х годов Борис уехал в Курган, где учился в школе-девятилетке. Там он стал посещать занятия «Литературных четвергов» при газете «Красный Курган». Осенью 1928 года эта газета напечатала первые стихи пятнадцатилетнего Бориса Ручьева: «На озере», «Зима», «Граммофон», «В школе», «О субботнике». Под ними стояла подпись — Борис Кривошеков.

Псевдоним «Ручьев» появился позже, уже в Магнитогорске.

Ранние стихи Ручьева — это пейзажные зарисовки, сценки из деревенской жизни, в которую властно вторгаются приметы социалистической нови. Стихи напевны, ритмичны, но еще слабы, подражательны.

Летом 1930 года, по окончании школы, Борис Ручьев возвращается в Зверинку. Там давно поджидал его Михаил Люгарин. Он-то и соблазнил друга отправиться в Москву, где годом

ранее побывал один и даже успел познакомиться с известным поэтом Николаем Полетаевым.

Друзья предстали пред ним в редакции журнала «Октябрь», где Полетаев заведовал отделом поэзии. Ручьев показал опубликованные в газете стихи, Люгарин достал из мешка свои рукописи (он приехал в Москву с мешком стихотворений). Николай Полетаев внимательно прочитал стихи того и другого, особенно похвалил Ручьева, да и Люгарина за отдельные строчки и некоторые удавшиеся, по его мнению, поэтические образы. Но в журнале их печатать не стал. Разбор стихов был строгим и взыскательным. В конце разговора поэт тепло напутствовал Ручьева и Люгарина, посоветовал по-настоящему познакомиться с жизнью и порекомендовал им отправиться на одну из строек пятилетки.

Побродив по Москве несколько дней, друзья случайно наткнулись на вывеску «Вербовочный пункт». Решили завербоваться на Магнитострой, о котором много слышали и читали в газетах. Люгарина, старшего по возрасту, взяли безоговорочно, а вот Ручьеву пришлось прибавить себе пару годков.

...В Магнитогорск прибыли затемно. У красного товарного вагончика с надписью «Станция Магнитострой» их встречал духовой оркестр. Стройке нужны были рабочие руки, оттого и радовались так неподдельно прибытию пополнения. Счастливы были и прибывшие. Атмосферу этого времени Борис Ручьев запечатлел в поэме «Любава» (1963):

До чего ж это здорово было!
Той же самой осенней порой
как пошла вдруг да как повалила
вся Россия на Магнитострой.
Обью, Вологодой, Волгою полой,
по-юнацки баской — без усов,
бородатую, да длиннополой,
да с гармониями в сто голосов.

Множество рабочих профессий испытал будущий поэт на стройке: был и землекопом, и плотником, и бетонщиком. Возводил плотину через реку Урал, участвовал в сооружении первых домен. А рядом с батареями Коксохима и цехами металлургического комбината вступал в жизнь и постепенно набирал силу поэтический «цех», представленный теми же рабочими парнями, которые возводили легендарный город «у высот Магнит-горы». При редакции газеты

«Магнитогорский рабочий» поэт Василий Макаров организует литературный кружок «Буксир», активными участниками которого с первых же дней становятся Борис Ручьев и Михаил Люгарин.

Магнитогорской литературной группе принадлежала ведущая роль в уральском литературном движении 30-х годов. Достаточно вспомнить, что она воспитала в своих рядах, кроме Бориса Ручьева и Михаила Люгарина, таких писателей, как Людмила Татьяничева, Константин Мурзиди, Александр Авдеевко, и других.

Внимание к рядовому труженнику, к тем изменениям, которые происходят в сознании и психологии вчерашнего крестьянина под влиянием коллективного труда,— вот что прежде всего отличало стихи Ручьева от произведений его товарищей по магнитогорской литературной организации. Преодолевая декларативность и схематизм — типичные недостатки молодой поэзии 30-х годов,— Борис Ручьев упорно пробивается к своим героям, влюбленным, как и он сам, в могучий размах стройки, ставшей для них второй родиной. Он так и называет свою первую

книгу, вышедшую в 1933 году почти одновременно в Свердловске и Москве (московское издание редактировали Эдуард Багрицкий и Алексей Сурков), — «Вторая родина».

Лирический герой книги — молодой рабочий Магнитостроя, в прошлом крестьянин, — вместил в себя судьбу целого поколения. Без сожаления покинул он свою «первую родину» — деревню, хотя с ней многое еще связывает: и любимая девушка, и «друговой гармоники песенный узор», и «золотые полосы с недозрелой рожью...» Но там, в деревне, он был батраком, «монетой шлялся по хозяевам», бесплодными были мечты «про золотые горы и полные реки хмельного вина». Единственной реальностью оставалось «хаты собственной гнилье». И вот поманил к себе далекий «златогорый» город, и парень поверил, что он круто изменит его судьбу, «силу новую возьмет»:

Принимай парнишку
с синими глазами,
город дымнострейный,
в ремесло свое!

Правдиво и безыскусно повествует Борис Ручьев о долгих мытарствах и странствиях свое-

го неискушенного героя. Вместе с плотницкой артелью, возглавляемой подрядчиком-мироедом, исколесил он полстраны. Тонко и убедительно рисует поэт душевное состояние паренька, его мечты о новой жизни, которые вступили в противоречие со стяжательской психологией артельщиков.

Но в конце концов дороги приводят отходников на Магнитострой, где распадается последняя артелька, разоблачен и выброшен старшина артели. Родившаяся на ее месте бригада, которую возглавил «парень дельный, крепач, что надо», стала одной из лучших на стройке.

Сборник стихов «Вторая родина» стал итогом первого этапа поэтической деятельности Бориса Ручьева. Но одновременно он определил главную тематическую линию всего дальнейшего творчества поэта — вдохновенный созидательный коллективный труд, в котором преобразуется и духовно растет сам человек, приобщающийся к новому быту и жизни на стройке, к революционной пролетарской морали. И герой лирики Ручьева, так же как и сам поэт, вправе будет сказать о себе:

Я знаю завод с котлована, с палатки,
с чуть видимой дымки над каждой трубой,
здесь каждый участок рабочей площадки
сроднился с моей невеликой судьбой.

Книга молодого поэта была встречена с большим интересом. О ней высоко отзывались такие критики, как А. Селивановский, К. Зелинский, В. Ермилов; приветствовали поэты: А. Сурков, Э. Багрицкий, Вл. Луговской. Газета «Правда» писала о ней, что «это лучшее из всей поэтической литературы, написанной о Магнитострое».

С трибуны I Всесоюзного съезда советских писателей, делегатом которого был избран Борис Ручьев, его имя называлось в числе лучших писателей страны. Со съезда молодой уральский поэт возвратился с членским билетом Союза писателей СССР, подписанным А. М. Горьким.

Новым достижением Бориса Ручьева в работе над поэтическим словом стала его первая поэма — «Песня о страданиях подруги» (1934), получившая теплый отзыв Эдуарда Багрицкого и опубликованная по его рекомендации в журнале «Красная новь». С каждым новым произве-

дением поэтический голос Ручьева становится ярче, уверенней.

Многие стихотворения 30-х годов по праву можно считать автобиографичными: «Песня о брезентовой палатке», «Стихи первому другу», «Ровесники получают премии», «Дополнение к анкете» и другие. Рядом с самим поэтом на страницах его книг вырастают живые, невыдуманные герои, каждый со своим неповторимым характером и судьбой, со своим особым миром чувствований и страстей: здесь и экскаваторщик Ахун Галимжанов, и механик Ржанеев, и бригадир бетонщиков Егор Смертин, и комсомолец Михаил Крутяков, и близкий друг Михаил Люгарин. Все они вслед за поэтом могли бы сказать о себе, что вложили в дело основания завода и города «камень личного граненья, вечной крепости бетон».

Ручьев показывает, как суровый непреклонный труд и бытовые лишения духовно облагораживают, выпрямляют и закаляют характер строителя первых пятилеток. Время здесь (как об этом также напишет приезжавший в Магнитку Валентин Катаев в своем романе «Время,

вперед!») как бы ускоряет свой бег. Бригада рабочих за два года проходит века: Земляной, Деревянный, Бетонный. Над ранее необжитой, голой степью, где хозяйничали ветра, ныне четко вырисовывается силуэт будущего гиганта индустрии: «И уже замирает душа, как загрохал над первую домной завершающий век Монтажа».

Но молодой поэт не избежал художественных просчетов: встречались и у него в ту пору стихи слабые, декларативные. Преодолеть ошибки ему во многом помогла учеба на Малеевских литературных курсах, организованных в конце 1934 года Союзом писателей и ЦК ВЛКСМ. Здесь он познакомился и подружился с М. Нагнибедой, К. Поздняевым, А. Ионовым и другими молодыми писателями страны.

С 1935 года Ручьев заочно учится в Литературном институте. В этом же году переезжает в Свердловск, где сотрудничает в журнале «Штурм», в газетах «На смену!», «Уральский рабочий», «За Магнитострой литературы». Сближается с Борисом Горбатовым, Павлом Бажовым, Николаем Куштурмом, Константином Реутом.

В Свердловске Ручьев работает над поэмами:

«Бунт Никиты Нарижного», «Виктория», «Громобой», «Страдания моего ровесника», которые, к сожалению, безвозвратно утеряны. Подшивки старых газет лишь сохранили для нас главы из поэм «Аленушка» и «Калина Баев». По-прежнему в центре этих произведений стоит рабочий человек. Его дерзновенный труд, красоту и силу воспевает поэт. Под стать былинному богатырю, «три геройских ремесла знает лучше песен» Калина Баев. Он и строитель, и забойщик, «вырывающий из горла гор потайные руды».

А про третье ремесло
много славы — мало слов.
Это — век на свете жить,
сталь отменную варить...

Отличительной особенностью всех этих вещей явилось осознанное усвоение народно-поэтических традиций, пристальное внимание к живой разговорной речи. Все это обогатило палитру, создало прочный фундамент, на котором зиждется творчество поэта.

В конце 30-х годов в уральской периодике появляются стихи Бориса Ручьева из циклов «Открытие мира», «Соловьиная пора», «Девушки-подружки».

Лирический герой цикла «Соловьиная пора» так же, как и его сверстник в книге стихов «Вторая родина», обретает «второе рождение» на Урале, навсегда оставив «отчий город Кременчуг». Герой Ручьева — романтик и мечтатель. «Состоя всю жизнь рабочим огневого ремесла», отдавая ему все душевные и физические силы, он мечтает построить у Магнит-горы город-сад:

Сад завьется, заплетется,
через тридцать пять годов —
сколько листьев встрепенется,
столько свистнет соловьев...
И засвищут, сна не зная,
вплоть до утренней поры,
соловьи — с Таганая,
соловьи — с Магнит-горы.

Герой Ручьева как будто бы сугубо городской человек: строит город, возводит плотину, сооружает завод,— но в то же время он сохраняет трепетную любовь к природе, ко всему живому.

В цикле «Соловьиная пора» впервые в творчестве поэта возникает проникновенная мелодия чистой и возвышенной юношеской любви. Как правило, стихи о любви богаты традиционной народно-песенной символикой. В разлуке героиня

поет песню о зозуле, а в подарок жениху привозит «сок вишневый на губах», «соловьиху с соловьем». Изнывающий от жажды тополь «ничего вокруг не видел от своих угрюмых дум», но стоило ему повстречать дождевую тучку — весь мир преобразился:

Перед ним — горит малина,
перед ним — за садом сад,
семицветна вся долина,
стоголосы все леса.

Собственное сердце представляется герою Ручьева «синим самолетом», на крыльях которого он успел облететь всю страну. Желание все успеть, увидеть своими глазами, пропустить через свое сердце было свойственно и самому поэту.

В эти годы он много пишет, мечтает издать новую книгу, но его желанию долгие годы не суждено было сбыться...

...Начавшаяся война с фашистской Германией застала Бориса Ручьева в далекой тайге Оймякона. И после четырехлетнего молчания родились «Стихи о далеких битвах», написанные зимой 1942 года в госпитале, куда с тяжелыми ожогами после тушения пожара в тайге попал

ду проникновенный лирический цикл «Красное солнышко». Герой этого цикла воплотил в себе лучшие качества нашего современника, ни на шаг не отступившего, как бы ни были тяжелы обстоятельства, от своих нравственных убеждений:

И ни разу в пожарах и вьюгах
заслужить ты упрека не мог,
будто ты побежал от испуга,
будто в горе друзьям не помог.
Пусть, хрипя, задыхаясь в метели,
через вечный полярный мороз
ты в своем обмороженном теле
красным солнышком душу пронес.

Любовь воспевается поэтом в этом цикле как чувство сильное и всепобеждающее. Образ любимой женщины олицетворяет для него все самое святое и сливается с образом Родины.

На Севере была создана также одна из лучших поэм Бориса Ручьева «Прощанье с юностью» (1943—1959). Поэма имела до тридцати вариантов. Много раз изменялась, переделывалась, годами держалась в памяти.

В ней, пожалуй, с наибольшей силой обнаруживается одна из существенных особенностей таланта Бориса Ручьева: взаимопроникновение

мужественной гражданственности и самой интимной лирики. На основе этого единства рождаются характерные для поэта лиро-эпические произведения.

В поэме тот же герой, что и в цикле «Красное солнышко», честный советский труженик и патриот Родины. Ручьев показывает эволюцию идейного возмужания своего героя, проводит читателя по всем этапам его жизни, начиная от рождения и кончая «строгим возрастом первой седины».

«Прощанье с юностью» звучит как гимн победе добра и справедливости над силами мрака и беззакония, как гимн человеку, вышедшему победителем в открытом столкновении с врагами, не согнувшимся под тяжестью испытаний, не дрогнувшему, не свернувшему с правильного пути.

И, как солдаты, после битв живые,
испытанные болью огневой,
пройдя все испытанья силовые,
мы возвратились в вечный город свой.

Здесь, как огонь, сердца людские чисты
и крепостью похожи на руду.
Здесь мы всю жизнь живем как коммунисты,
по радости, по чести, по труду...

В 1957 году Борис Ручьев возвращается на Урал, в город своей юности — Магнитогорск. К этому времени относится начало его работы над поэмой «Любава», вершинным произведением 60-х годов. На первый взгляд это обновленный вариант «Второй родины». Здесь тот же герой, то же время действия. Но, глядя на события первой пятилетки с высоты современных достижений страны и народа, поэт сумел заметить многие детали и приметы тех лет, раскрыть связи и закономерности, не замеченные им ранее. Перед читателем возникает величественная картина строительства, нарисованная с эпическим размахом и широтой. Однако в центре внимания поэта по-прежнему остаются человеческие судьбы и характеры.

«Здесь, в Магнитке,— писал Ручьев в 1968 году,— начиная с 30-х годов, шла и идет борьба за глубинную перестройку человеческих душ, в рабочей семье магнитогорцев родился, растет и мужает новый человек России. Рассказать о нем я считаю благородной задачей писателя».

В 1963 году «Любава» увидела свет. За это произведение, а также стихотворный цикл «Крас-

ное солнышко» Б. А. Ручьев был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького.

Поэт мечтал продолжить поэму, воспеть в ней могучую силу и красоту рабочего человека, строящего социализм, показать те огромные возможности, которые дала ему Советская власть. Но болезнь помешала осуществить этот замысел.

...Борис Ручьев очень любил свой город. От «костров, до утра не гасимых», от «палатки с зеленым оконцем», от первых котлованов и рабочих площадок до высот индустриальной твердыни, «поднявшейся над всею злобой вражьей стальной творимой вечно высотой»,— все этапы в жизни Магнитогорска вдохновенно и крылато воспела его муза.

«Я всегда жил и живу среди рабочих людей, которым посвящаю все свое творчество. Родная Магнитка — моя поэтическая колыбель, мой родной дом, который я никогда не покину»,— говорил он незадолго до смерти.

В 1973 году Бориса Ручьева не стало. Но живет с нами вечно юная поэзия его. На память-

нике-палатке первым строителям Магнитогорска,
воздвигнутом на берегу Урала, высечены стихи:

Мы жили в палатке
с зеленым оконцем,
промытой дождями,
просушенной солнцем,
да жгли у дверей
золотые костры
на рыжих камнях
Магнитной горы.

Сотни любителей поэзии посещают музей-квартиру Бориса Ручьева, а одна из новых улиц города носит его имя.

Лидия Гальцева

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЮНОСТЬ

СТИХИ ПЕРВОМУ ДРУГУ

Поэту М. Люгарину

Дружба — вместе,
а табачок — врозь.

Дедова пословица

Ты о первой родине
 песню начинаешь,
и зовут той песней —
 крепче во сто крат —
пашни да покосы,
 да вся даль родная,
да озер язовых
 зорняя икра,
да девчата в шалих,
 снежком припорошенных,
озими колхозной
 ядренные ростки...
И не бьется в сердце
 ни одна горошина

давней, доморощенной,
избяной тоски.
...Ты о нашем городе
песню запеваешь,
и зовется в песне
родиной второй,
нас с тобой на подвиг
срочно вызывая,
до последней гайки
наш Магнитострой.
Может, послабее,
может, чуть покрепче
я пою о том же...
И — навеселе,
как родня — в обнимку,
на одном наречье
ходят наши песни
по своей земле.
Эта дружба затевалась
не на случай, не на срок,
шла по снегу и по пыли
всех искоженных дорог.
Вместе бросили деревню
и отправились в отход,

начинали вместе строить,
строим, выстроим завод.
На одной подушке спали,
вместе пили «Зверобой»,
на работу выступали
с красным флагом — будто в бой.
Хлеб делили, соль делили,
жизнь делили, как табак,
и по графику носили
разъединственный пиджак.
Каждый праздник, как награду,
получали от страны
то — рубахи из сатина,
то — суконные штаны.
Только вспомни, как, бывало,
первый вечер, первый год,
мы певали под гармошку
без подсказок и без нот:
«Ты, гармошка,— сине море,
я — игрок на берегу...
Лет семнадцати девчоночку
себе поберегу...»
А теперь, вздохнув глубоко,
папиросу прикурив,

отдается в сердце у меня.
Зори меркнут, тучи ходят рядом,
как свинец, становится вода...
Может, я ругаюсь злей, чем надо,
слишком хмурю брови иногда.
Кривду всю покуда не порушив,
вечной правде верная сполна,
бьется насмерть

и за наши души
слава наша — родина-страна.
Может, не додружим, не достроим,
может, завтра,

может, через час
выйдем мы с ровесниками строем,
унося винтовки на плечах.

В бой так в бой,

на битву, а не в драку,
жизнью став на самом берегу,
как шагнем мы в первую атаку,
в первый раз ударим по врагу?..
Если же отступишь перед тучей,
по руке ударишь в черный срок
и уйдешь, ничейный и колючий,
перепутьями чужих дорог,—

на минуту камнем станет нежность,
ты иди,

не думай обо мне...

Встречу я тебя, товарищ, тем же,
чем врага встречают на войне.

И тогда-то —

сердцем,

а не речью

всей России в мировом бою
за твою походку

я отвечу

так же, как отвечу за свою.

А покамест друг у друга

ты в долгу и я в долгу.

Если в жизни станет туго,
чем захочешь — помогу.

Если я скажу сурово,
вдруг обижу невзначай,
ты найди суровой слово,
той же дружбой отвечай.

А сегодня утром ясным
по уставу, в свой черед,
выступаем с флагом красным
на великий фронт работ.

А причина этому простая:
только два годочка отступя,
я, по роду-племени крестьянин,
коней пас по троицким степям.
Стройка мне не обошлася даром,
и, подумав прожитому вслед,
путь от пастуха до кочегара
называю первой из побед.

Помолчи же,

выслушай, как надо,

я по-русски здорово речист...

Знаю: ты пришел

из Колорадо,

сам пришел,

как верный коммунист.

Знаешь ты походы безработных,

полицейских тюрем тесноту,

и сейчас в работах и заботах

ты — на самом боевом посту.

И теперь па честном коммунисте,

па тебе,

как давняя печать,

только и осталось

звание — м и с т е р,

сказанное чаще невзначай.
Прошлое осталось для расплаты,
и, его ничуть не позабыв,
ты, да я,

да друг наш экскаватор
стали точкой мировой борьбы.
Сколько их?

Никто не сосчитает
малых точек на большой земле —
в Англии, в Америке, в Китае,
в дальних странах,

неизвестных мне.

И моих товарищей по росту,
по ночам, на зорьке, до гудков
мучает бессонница не просто
у машин,

моторов

и станков.

Да и мне покамест

нет покоя,

дни коротки,

поченьки долги,—

спится мне железо под рукою,
бьют меня по пальцам рычаги.

И прошу,
товарищ, а не мистер,
согласись, товарищ,
в час любой
обучать меня «на машиниста»,
чтобы стал я наравне с тобой.
Не беда, что говорим мы разное,
переводчик наш
поет в груди —
человек я малый, но серьезный,—
ты за мною сердцем последи.
.
Сумерки окутывают плечи,
самокрутки выкинуть пора...
Мастер Джемс,
прощаясь в этот вечер,
руку жал приветливей и крепче,
чем в другие дни и вечера.

1932

Это было еще в тридцатом.
Поутру,
покинув вокзал,
парнем серым и простоватым
я впервые в артель попал.
Взял старшой меня не торгуясь
(сам-то кругленький, будто еж)
и в работу запряг такую,
что не охнешь и не вздохнешь.
Знал я мало,
умел пемного,
если ж спросишь о чем таком,
он тебе отвечает строго,
будто по уху — матюком.
Так трудился — неделю, месяц,
может, с толком,
а может, в брак,
позабыл, как поются песни,
научился курить табак.
Но за месяц кассир угрюмый
мне «два ста» рублей отсчитал...
Понимаете, эта сумма
для моих земляков —
мечта!

...Только раз, после вьюжной смены,
я на митинг вхожу в тепляк,
вижу — наш-то старшой со сцены,
как оратор, толкует так:
мол, расценки, сказать по правде,
обирают рабочий люд,
дескать, здесь нам бумажки платят,
а в Кузнецке и спирт дают.
Мы, мол, тоже не прочь погреться
да податься в Сибирь отсель,
дескать, я говорю от сердца,
за свою говорю артель...
Тут и кончились разом прятки —
при народе, светлейшим днем,
целых пять земляков из Вятки
мироеда

признали в нем.

В шуме, криках,

вскипевших штормом,

взявших оборотня в оборот,
ярость бешено сжала горло
и рванула меня вперед.

...Видел я только эту харю,
оболгавшую всю артель.

Может, я по ней не ударил,
только помню,

что бил, как в цель...

Об этом я вспомнил совсем не напрасно,
я знаю,

как ярость за сердце берет.

А это ж — та самая ненависть класса,
с которым дышу я и строю завод.

Я знаю завод с котлована, с палатки,
с чуть видимой дымки над каждой трубой,
здесь каждый участок рабочей площадки
сроднился с моей невеликой судьбой.

За мною немало тореных дорожек,
я волей не беден и силой богат,
а в душу как гляну суровой

и строже —

не чую покоя и славе не рад.

Живу как живется,

пою без разбора,

дружу с кем попало

и бью невпопад,

и даже к победам,

горя от задора,

иду, останавливаясь, наугад.

Завод в котлованах — под бурями
начат,
в работе растёт он железным,
в борьбе...

И это, пожалуй, все то же и значит,
что я говорю вам сейчас — о себе.
Я верности вечной не выучен клясться,
не скажешь словами, как сердце поет.
Я вижу — вы юность железного класса,
с которой отныне пойду я вперед.

1932

* * *

За щучьим Тоболом, за волчьей тайгой,
за краем огня и змеи,
гроза становила высокой дугой
ворота от сердца земли.
Где зарево славы от горных костров,
червонцы и сила в ходу,
где горы железа и реки ветров
у гордых людей в поводу.
Особый народ (не мои земляки),
я жизнью ручался за то,
что сможет из самой последней реки
устроить всемирный потоп.
А что моя доля? В лесах ни души,
за яром взмывается яр.
Ну что, моя доля? Девчонка, скажи!
Дикарка лесная моя...

Стояла девчонка в суровой красе,
и сам я сказал: — Хорошо...—
Я хлеба напек, засушил карасей
и кожей оправил мешок.
Над солнцем, над черным испуганным днем
в тайге хохотала гроза,
четыре сосны изрубил огнем
и мне указала вокзал.
И не было горя, и я не гадал,
что край о разлуке поет,
что поезд, качая, несет на года
в далекий орлиный полет.
Страна, где страдал я от полдней сухих,
от зимнего холода дроз,
навек потеряны числа твоих
мостов, семафоров, дорог.
Сто раз я слышал, как дорога гремит,
и поезд врывался туда,
где синие горы качал динамит,
в долинах росли города.
Так юных любила, шатала и жгла
костров золотая пора —
за гром вагонеток, за искры кайла,
за кованный звон топора.

Горячие ночи прикончили сон,
и, трубку сжимая в зубах,
работал, готовый на сорок часов
забыть про еду и табак.
Июль налетел с азиатских границ,
январь — с ледовитых морей,
и губы в июле ссыхались в крови
и были как лед в январе.
Во сне я не видел краев дорогих
и думал по-старому — въявь
живет на Тоболе, у волчьей тайги,
лесная зазноба моя.
В боях на ударе ломается сталь,
а я возмужал от боев.
На поднятых мною домах и мостах
я вырубил имя ее...

В тайге порешили, что в землю зарыт,
но летом — проезжий горняк
хвастнул, что бывал у Магнитной горы
и песню слышал про меня.

Сказала девчонка:

— Найду, хоть убей...-

Не знала ни смеха, ни сна.

Отправила белых своих голубей —
четыре почтовых письма.
Они долетели, забились в руке,
и я расспросил их подряд..
И видел, как барки летят по реке,
костры над тайгою горят.
На всех пристанях поднялись земляки —
народ, именитый за то,
что может из малой сибирской реки
устроить всемирный потоп.
Зато гармонист открывает игру,
и первой из первых подруг
высокая девушка входит на круг —
и радугой кружится круг.
За жаркие руки, за легкость шагов,
за сердце ее и еще
за вечную верность от двух берегов
невиданный в мире почет.
Но тьма загремела замками дверей,
уходит зазноба моя.
И полночь уходит. И время заре.
Стожары пад миром стоят.
Красивые звезды походных былин,
при вас покидая привал,

походку любимой по гулу земли
я тысячу раз узнавал.
И, ветру назло раскрывая глаза,
о годах, что с нею прошел,
простыми словами нельзя рассказать,
но песню запеть — хорошо.

1934

СКАЗКА О СИНЕМ САМОЛЕТЕ

Сердце,
 окрыленное биением,
сказка скоролетная моя...
Синий-синий. Крылья легче теней,
с дымчатой резьбою по краям.
Бьют часы на круглых башнях славы,
и в дыму земные округа.
Я сходил на городских заставах
и на океанских берегах.
И скажу с закрытыми глазами,
что плывут к Архангельску суда,
доспевают яблоки в Казани,
в Астрахани сохнут невода;
дятлы ходят на плотках и срубках,
руды тают в кованых печах,
и встают селения под трубы
птичьим перелетам до плеча.
Я летел от пресных рек заката

в хвойные сибирские леса
и, познав, чем родина богата,
золотом на крыльях написал:
лист деревьев, барки, ледоколы,
самоцветы солнца и луны,
рыб хвостатых, падающий колос,
птиц летучих, певчих, водяных,
все плоды — от яблока до груши,
хлеб ржаной и радуги вина,
ленты рек, крутые гребни суши,
городов железных имена.
Я летел на гром и на знамена,
на костры, на дым, на голоса,
но друзей душевных поименно
я не мог на крыльях записать.
Не хватило золота и счета,—
и поклялся вечно знать в лицо
мудрых рыбаков и звездочетов,
вечных горновых и кузнецов.
Петь меня строители просили,
агрономы звали на совет,
пивовары пиво подносили,
солевары ставили обед,
звали капитаны в бой с прибоем,

гармонисты брали тон руки,
на волков водили зверобой,
в шахту наряжали горняки.
И велели жить легко и трезво,
что до смерти азбуку труда,
реки ставить, добывать железо,
стены класть в гранитных городах.
Родину не сравнивать с любимой,
а в правах гражданского родства
головой стоять неколебимо
за казну ее и торжества.

В праздники ходить в рубашках алых,
связь бить и стерлядь брать в глубь,
мир познать, прощаясь на вокзалах,
женщин приглянувшихся любить.
Слышать, как гудят громоотводы,
журавли спускаются в траву,
рушатся забои, солнце всходит,
сохнут росы и гудки зовут.
Я согласен.

Крылья наземь бросил.
Прохожу по щебню (легкий хруст)
в знойные урочища ремесел,
в мир простых и сказочных искусств.

А когда товарищи спросили,
глянув в небеса над головой:
— Что случилось с самолетом
синим?..—

Я ответил:
— С сердцем? Ничего!..

1934

М О Й И Ю Л Ь

В птичий месяц моего рожденья
невпопад леса свистят: июль!

Росы, рассыпаясь от паденья,
умывают родину мою.

На горах костры горят без дыма,
жжет заря заказанный сосняк.

С тропками витыми и пустыми —
вся земля, как озеро, ясна.

И, признаюсь —

по своей охоте,

въявь мне снится, только замолчу,
что лечу я в синем самолете,
часовым над родиной лечу...

Чуть качая на озерах лодки,
трубят в трубы в гнездах падунов
города Урала — самородки
с дымчатыми зернами домов.

Выше труб взвиваются дороги,
цепи гор шатая на весах;
поднялись орлиные крутоги,
полегли лосиные леса.
За горами реки ходят кругом,
гнутся пашни, падают луга,
тополя по лесенке до юга
всходят на серебряных ногах.
Бродит море Черное потопом,
все эскадры ставит на отвод,
вдоль по морю город Севастополь
броненосной крепостью плывет.
А за ним ни берега, ни края,
жарко — без дорог и без оград —
догорает и не догорает
черный и зеленый виноград.
Карту стран заря перекроила
золотыми иглами пера,
и кричу я:

— Здравствуй, Украина,
небо семицветного Днепра!..
Ты берешь на славу и на годы
синеву, как рек своих удои,
золотое — от своих угодий,

сок вишневый от своих садов.
Но навстречу вскрылись перекрестной,
трубной, зореходною рекой
медные московские оркестры,
а оркестров — сорок сороков.
И встает, броненный в красный
камень,
звезды из рубинов окрыля,
мир, хранимый чистыми штыками
в воротах гранитного Кремля.
Мир, хранящий в маршах Мавзолея,
на граненых, каменных руках —
яви и легендам — имя Л е н и н,
сердцем, не сгорающим века.
И, склопясь над музыкой печальной,
честь отдав на медленном лету,
тихо-тихо говорю:
— Начальник,
горы в громе и земля в цвету!..

ИСТОРИЯ ОРЛА, СКАЛЫ И РЕЧКИ

Мальчишкой озорным, десятилетним,
срываясь — грудь я расшибал в горах...
Так понял я, что есть, как боль на свете,
печаль и кровь, бессилие и страх.

Над горным краем затворяла тучи
и молнии калила добела
зубчатой гранью, кручею падучей
суровая орлиная скала.

Ни зверьих нор, ни пепла, ни ступеней,
во все века бесплоден черный склон.
И вырубил орды поколений
на лбу ее проклятия времен.

Тогда скалу хотел я сжечь глазами,
бил камнями, ругая и кляня.
Гранит молчал, за ненависть и зависть
отщелкивая камни на меня.

Стояли горы. Жгло неодолимо.
Летели птицы с севера на юг.
И, с неба петлей падая в долину,
орел смотрел на голову мою.

Горячий, кривоносый, черно-рыжий,
он резал мир до моего плеча,
жильцом взлетал на каменные крыши,
крыльями надо мною хохоча.

Я думал — камень хищника догонит,
дрожали руки, сердце жгло в груди...
Я шел к реке, протягивал ладони,
просил глаза и сердце остудить.

Медянской речка прозвана. По скалам,
по желтым мхам, над ржавою рудой
она шипела, падала, плясала,
в лицо плевала медною водой.

...Как лихоманку, перенес я детство,
за годы боль и страх переборол.
И перешли навеки мне в наследство
скала, река и рыжий мой орел.

В ту пору небо рдело не сгорая,
рос город в зорях, в грохоте, в дыму,
прогнав орла из каменного края,
как будто по веленью моему.

Строители! Удар, так без отдачи,
под солнцем — жарко, жарко — при луне.
Я был сто тысяч первым, а удача —
дождем летела в руки и ко мне.

Мне говорят: дворцам гранита мало...
Вот — перфоратор, шнур и десять дней.
В какую полночь — горстью

аммонала —
скалу орлов я вырвал до корней?

Я ладил скрепы каменной плотине,
работу принимая, словно бой,
и забурлила речка по долине
рекою полноводной голубой.

И за пять лет, ни много и ни мало —
за сердце, за работу и за гром
ты, Родина, мне руки подымала,
одаривала словом и добром.

Вот только я орла не вижу снова...
И если вы найдете клочок крыла,
до ржави черно-рыжего, сухого,—
скажите мне, родные, про орла.

Я подожду. На север облаками
летит гроза, осеребрив траву.
Так и живу я в городе из камня
и до ста лет, пожалуй, доживу.

1934

СОЛОВЬИНАЯ ПОРА

ПЕСНЯ О БРЕЗЕНТОВОЙ ПАЛАТКЕ

Мы жили в палатке
с зеленым оконцем,
промытой дождями,
просушенной солнцем,

да жгли у дверей
золотые костры
на рыжих камнях
Магнитной горы.

Мы жили в палатке,
как ветер, походной,
постели постели
на белом восходе,

буры рокотали
до звездной поры
в нетронутых рудах
Магнитной горы.

А мы приходили,
смеялись и жили.
И холод студил нам
горячие жилы.

Без пляски в мороз
отогреться невмочь,
мы жар нагоняли
в походную ночь.

А наш гармонист
подыграл для подмоги,
когда бы не стыли
и руки и ноги;

озяб гармонист
и не может помочь,
озябла двухрядка
в походную ночь.

Потом без гудка
при свинцовом рассвете
мы шли на посты`
под неистовый ветер

большим напряжением
ветра превозмочь,
упрямой брезента
в походную ночь.

А мы накалялись
работой досыта,
ворочая скалы
огнем динамита.

И снова смеялись —
от встречи не прочь
с холодной палаткой
в походную ночь.

Под зимним брезентом
в студеных постелях
мы жили и стыли,
дружили и пели,

чтоб нам подымать
золотые костры
нетронутой славы
Магнитной горы.

Чтоб в зареве плавок
сгорели и сгасли,
как гаснут степные
казацкие сказки —

метельный разгон,
ураганный надрыв
стремительных ветров
Магнитной горы.

Чтоб громкий на версты
и теплый на ощупь,
как солнце, желанный
в походные ночи,

на тысячи створок
окошки раскрыл
невиданный город
Магнитной горы.

Мы жили да знали
и радость и горе,
забрав, будто крепость,
Магнитную гору...

За рудами суши,
за сишью морей
красивая слава
грохочет о ней.

Мы жили да пели
о доле рабочей
походною ночью,
холодною ночью...

Каленая воля
бригады моей
на гордую память
осталась о ней.

Мы жили, плясали
без всякой двухрядки
в холодной палатке,
в походной палатке...

На сотни походов,
на тысячи дней
заветная песня
осталась о ней.

СВИДАНИЕ

Ну что же! И раньше свидания были,
за долгие годы до нашего времени,
и каждое слово каждой любимой
пахло черемухой, пахло сиренью.
Вечерним покоем, закатной усладой,
в больших городах и в слободке любой,
в садовых аллеях, в плену палисадов
благополучно гуляла любовь.
А в городе нашем нет признаков юга,
сады не успели подняться от ног.
Но я, между прочим, ответил подруге:
— Конечно же встретимся,

сходим в кино!

Кончается лето, и серая осень
туманом распушит косые дожди.
Кончается лето... И завтра же в восемь
я буду свободен, ты только зайди!
Квартиру мою и ребенок отыщет,
напротив нее, на большом пустыре,

недавно построен огромный домище,
без крыши стоит он пока, без дверей...—
Мы так и условились — лучше не надо.
И время прошло, как большая вода.
...Но как посчитаешь себя виноватым
за то, что девчонку не встретил тогда?
Она отыскала проулок знакомый,
пошла осторожно в далекий конец,
но так и не видела нужного дома,
тревожно задумавшись обо мне.
И я, как слепой, по квартире шагая,
до сумерек глаз не отвел от окна
и думал о том, что моя дорогая
такая неверная — в мире одна.
Да так бы запала на сердце обида,
чтоб первым укором сказаться потом,
но с горя я словно прозрел и увидел —
смеется в глаза мне огромный тот дом.
Он за ночь стал разом нарядней и выше —
такому вовеки не постареть,
заря проходила железною крышей
и пала в зеркальные стекла дверей.
А сутки назад полноправно и четко
леса нависали над каждой стеной...

Я так и подумал: искала девчонка,
на дом поглядела,

прошла стороной.

Но я уж зато посмеялся при встрече
на редкость, до слез, до сердечных глубин.

Конечно, не станешь оплакивать вечер
за капельку грусти, за море любви.

Прости, дорогая! Ведь смех не случаен.

Смешно до последней слезинки, когда —
мечтая о городе — не замечаем,
как быстро мы строим свои города.

1933

* * *

Снова песня про сыву зозулю
запевається в наших краях...
Небеса над зарею заснули,
и тоскує коханка моя.

Я не смел упрекать и браниться,
ни грустить, ни смеяться не смог —
опустила сухие ресницы,
голубой закусила платок.

Только каждый
зачем-то поверил
в то, что, чудом пустившись в полет, —
в нашей комнате сказкой вечерней
Украина минутку живет:
с подоконников — ветер медовый,
потолком — колыхается гай,
золотою днепровской водою
ударяет закат в берега...

И, минуя края дорогие,
по тоннелям, по грому мостов,
по дорогам России

на Киев

много скорых летит поездов.
Ты готова в полет, вырастая,
птицей грустной над песней паря,
полететь за последним составом,
за летучим огнем фонаря,
чтобы родина встретила лаской,
приказав голосами садов:
век любви мои были и сказки,
по обрываю ходи за водой!
Отпущу.

Да не слажу с собою.

И, почувствовав силу свою,
как последнюю — первой любовью
крылья срежу и сердце скую.

От степей, запаленных кострами,
от Магнитной горы

никогда

не поедем в далекие страны
голубые искать города.

По России —

от стойбищ оленьих
до Карпатских и Брянских лесов —
небывалое землетрясенье
начинается с наших высот.

Я когда-нибудь вспомню, старея,
расскажу, как смеялся и пел
в котловане восьмой батареи
на холодной подземной тропе.

Ты спокойно стоишь над закатом.
Всходят звезды. И гром над тобой.
И летят по земле эстакады,
осыпаются скалы в забой.

И не спит и волнуется город,
разметавшийся в камнях и мгле
на каленном жарю просторе,
на размытой дождями земле...

А когда высоко и богато
в третий раз зацветут тополя —

на последнем полете заката
зорний город увидит земля.

От волнения пройдуь и устану,
оглянусь, не увижу следов.
И под звезды взорвутся фонтаны,
и над звездами крыш и садов.

Справим пир до полуночи поздней
и отправим пятьсот телеграмм,
чтобы знали про нас и про звезды
города, незнакомые нам.

Вспомним тучи.

Как жили под ними,
как любили и славили юг.
И стаканы спокойно поднимем
за великую силу свою.

Ты стоишь. Нет огня у заката.
Только полночь и тьма над тобой.
Незаметно летят эстакады,
глухо падают камни в забой.

Поздно. Спой на спокойствие улиц,
как в далеких днепровских гаях —
закувала та сыва зозуля
в тоскованье о наших краях.

1932

П Р О В О Д Ы В А Л Е Н Т И Н Ы

Вдоль березовой долины,
под прикрытием зари,
дует ветер с Украины
паровозу в фонари.

Дует ветер-западóк,
ковылилки валит с ног,
а дежурный по вокзалу
на разлуку бьет звонок.

— Все,— скажу я,—
Валентина!.. —

Чемоданы положу.
— Ты,— скажу я,—
Валентина,
поцелуй меня! — скажу.

Ты глаза закроешь вдруг,
плащ свой выронишь из рук,

ты увидишь, как далеко
отчий город Кременчуг...
Подойдешь к родному дому,
на гранитном на яру,
поклонись ты голубому
соловьиному Днепру.
От разлуки бед не ведай,
каждый вечер над водой
вишню спелую поведай,
про зозулю песни пой.
Привези ты мне в подарок
сок вишневый на губах,
голубые шаровары,
пару вышитых рубах.
А еще, за ради жизни,
привези ты мне живьем
черноглазых, темно-сизых
соловьику с соловьем.

И поведай ты подругам
в самый полдень на Днестре,
как страдали мы по югу
ежегодно в декабре.
Как ходили в поздних росах

со строительства вдвоем,
вырезали на берегах
имя длинное твое.
Как любовь свою справляли
в перелете всех ветров,
на холодных камнях спали,
целовались у костров.
В полуночный тихий час
снились нам с тобой не раз
трели песен соловьиных,
соловьиный черный глаз...
Так что ты, за ради жизни,
привези-ка мне живьем
черноглазых, темно-сизых
соловьику с соловьем.

Стану птицам в час восходов
тихим свистом отвечать,
сочиненья птицеводов
вечерами изучать.
Обнесу заречный сад
кругом крашенных оград,
рассажу по тонким веткам,
будто пьяных, соловьят.

Сад завьется, заплетется,
через тридцать пять годов —
сколько листьев встрепенется,
столько свистнет соловьев!
Зоопарку — не отдам,
на базаре — не продам,
раздарю я птичьи стаи
по окрестным городам.
И засвищут, сна не зная,
вплоть до утренней поры
соловьихи — с Таганая,
соловьи — с Магнит-горы.
Стану старым и беззубым,
буду бороду носить,
буду в праздники по клубам
речи так произносить:
— Дорогие, вам известно,
прославляя горный люд,
на Урале — повсеместно —
соловьи мои поют!
Я растил их между прочим,
я взрастил их без числа,
состоя всю жизнь рабочим
огневого ремесла.

На реке вознес плотину,
город строил, сталь варил,
украинку Валентину
до скончания любил.

Потому, за ради жизни,
привези ты мне живьем
черноглазых, темно-сизых
соловьику с соловьем.

1936

ТОПОЛЬ

Проплыла глубокий омут,
вышла на берег светла,
шла по берегу крутому,
колокольчики рвала,
к белокаменному дому
вдоль по городу прошла.
Так прошла — взлетали шторы
в стококонных корпусах,
тополя, как семафоры,
застывали на носках.
Все дорожки молча звали,
тихо кланялись цветы,
и звенели звоном стали
деревянные мосты.
И вполголоса спросили
горожанки у ворот:
— Кто такая, всех красивей,
вдоль по городу идет?..—

Трижды я ходил обходом,
трижды шел навстречу ей,
поклонился мимоходом
в самой тесной из аллей.
Только дрогнули ресницы,
будто крылья синих птиц,
не могла остановиться,
не могла поднять ресниц.
Ночь спустилась. Дня не жалко.
Спи. А я приду к огню.
Невеселым горожанкам
небылицу сочиню:
как стоял в долине тополь,
по бокам — вершины гор,
этот тополь как закопан,
не поливан до сих пор.
В жажде сох, страдал в обиде,
неприметен и угрюм,
ничего кругом не видел
от своих угрюмых дум.
В жаркий месяц соловьиный,
в день — каленый добела,
между солнцем и долиной
тучка малая плыла.

Не сложила тучка крылья,
прогремела стороной,
тополь издали накрыла
синей тенью дождевой.
И увидел тополь: в мире
освеженный он стоит,
развернув над корнем шире
ветки теплые свои.
Перед ним — горит малина,
перед ним — за садом сад,
семицветна вся долина,
стоголосы все леса.
Весь малинник в птичьем свисте,
камни гор кругом гудят,
искры молний, трепет листьев —
все — в предчувствии дождя.

1936

СТИХИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Александра Соловьева,
ты ли все четыре дня
в платье шелку голубого
наряжалась для меня?
Из-за ясных глаз, родная,—
по такой в ночном бреду
вечно юноши страдают
на семнадцатом году.
Встанешь с правой стороны —
мне и ноги не верны.
Склонишь голову к плечу —
я от страха замолчу.
И шагаю, как в метели,
радость в сердце затая,
Александра, неужели,
Александра, — ты моя?..
Фонари горят — не вижу,
поезда гремят — не слышу,

грудь подставлю хоть ножу
и ни слова не скажу.
Я считал себя ученым,
кое-как науки знал,
подростающих девчонок
вечерами провожал.
Первым басом песни цел,
целоваться не умел.
Не напел я в мире слова,
от какого бродит кровь,—
Александре Соловьевой
описать свою любовь.
Не ответил, как хотел,
ей в глаза не поглядел.
Говорил про легкий воздух,
про медовый лунный свет,
о больших и малых звездах,
о скитаниях планет.
Грел на сердце, не таю,
думку тайную мою —
думал, ахнет Александра,
Александрю удивлю,
думал, скажет Александра:
«Я за то тебя люблю!»

Александра Соловьева,
где ты видела такого?
Подымал я к звездам руки,
спотыкаясь о кусты,
познавала ты науки,
и в глаза глядела ты.
На четвертый вечер вдруг
отказалась от наук...
Сел я, горький и суровый,
папиросу закурил.
Александре Соловьевой
ничего не говорил.
Час — ни слова, два — ни слова,
только дым над головой.
Александра Соловьева,
ты ли мучилась со мной?
Ты ли кудри завивала,
чтобы я их развивал,
ты ли губы открывала,
чтобы я их закрывал?
Ты ли кудри расчесала,
робость подлюю кляня,
ты ли губы искусала
от досады на меня?..

Над зарей фонарь горит,
Александра говорит:
— Ах, как холодно в саду,
ноги стынут, как на льду,
за науки вам спасибо,
а домой — сама дойду!..—
Я сидел как равнодушный
и ответил как в бреду,
что, напротив, очень душно
в этом пламенном саду..
Длинной бровью повела,
руку в руку подала,
Александра Соловьева
повернулась и ушла.

1935—1936

ВЕСНА

Всю ту зимушку седую
как я жил, не знаю сам,
и горюя и бедую
по особенным глазам.
Как два раза на педеле
по снегам хотел пойти,
как суровые метели
заметали все пути...

Как пришел я в полночь мая,
соблюдая тишину,
задыхаясь, замирая,
к соловьевскому окну —
про любовь свою сказать,
Александру в жены звать.
Александра Соловьева,
ты забыла ли давно,

двадцать пять минут второго,
неизвестный стук в окно?
Вышла в сени по ковру,
улыбнулась не к добру,
вышла с талыми глазами,
вся в истоме, вся в жару.
Будто пчелы с вешних сот
на лице сбрали мед,
да ослепли медоноски,
всю изжалили впотьмах,—
две медовые полоски
прикипели на губах.
Кудри сбиты и развиты,
пали замертво к плечам,
плечи белые повиты
в крылья черного плаща.
Плащ до самого следа,
сверху звезды в два ряда,
плащ тяжелый, вороненый,
весь зеркальный, как вода.
Перелетные зарницы
на волнах его горят,
самолеты на петлицах
к небу медленно летят...

палисады окрыля,
в тайных криках, как немая,
оперенная земля,
вся — в непряженом шелку,
вся — в березовом соку.

1935—1936

О Б О Я Н К А

По лесам краснела земляника,
реки наземь падали со скал...
От соленой Камы до Яика
исходил я каменный Урал.
Ставил я в горах цеха из стали,
доставал я уголь на-гора,
и меня часами награждали,
пили чай со мной директора.
В праздники ходил я на гулянки,
по садам бродил в вечерний час,
и глядели на меня горянки,
нипочем не отрывая глаз.
По дорогам, низким и высоким,
медленно теряя дни свои,
я живу душевно одиноким —
только с точки зрения любви.
Словом, в жизни многому ученый,
знавший много счастья, много бед,
не имел я счастья знать девчонок,
равных в обаянии тебе.

Не имел я чести строить в яви,
видеть и во сне и наяву
города, сравнимые по славе
с городом, в котором я живу.
Где с тобой проходим спозаранку
по широким улицам вдвоем,
горлинка залетная, горянка,
горенько нежданное мое.
Видел я глаза орлиц и ланей,
соловьев и диких голубят,
но такие — синие в тумане,
голубые в полдень — у тебя.
Выйдешь в ельник — ельник станет
вровень,
в горы глянешь — горы позовут,
улыбнешься — за твое здоровье
земляника подпалит траву.
А купаться вздумаешь под кручей,
прыгнешь в воду ласточкой летучей,
вспыхнет сердце, словно от огня,
и плывешь по той воде кипучей,
над волною плечи приподняв...
На какой, скажи, реке заветной,
полуденным солнышком согрет,

твой родной, садовый, семицветный,
дальний Обояньский сельсовет?
На Дону ли тихом, на Кубани —
все равно имею я в виду:
обаятельнее Обояни —
на земле селений не найду.
Не найду в цветах желтее меду,
в горной вишне влаги огневой,
не найду на белом свете сроду
серденька желанней твоего.
Петь мне без тебя не довелось бы,
без тебя темно в середине дня,
и прошу я в превеликой просьбе —
выйди, что ли, замуж за меня.
Не хвалюсь одеждой и достатком,
но имею честь сказать одно:
никогда я не считаю сладким
горькое, веселое вино.
И долит меня большая вера,
до того долит, что нету слов,
что экзамен сдам на инженера —
вечного строителя домов.
Никакому горю непокорный,
каждый день тобою дорожа,

скоро стану строить город горный
по большим московским чертежам.
Вот и станет он песокрушимо,
облицован камнем голубым,
засинеют горные вершины,
как родные сестры, перед ним.
Обоянкой звать тебя я стану.
— Обоянка,— я тебе скажу,—
не спеша деревья вырастают
ровнями второму этажу.
Нет в садах зеленых с теми сходства,
что растут в твоей родной степи.
Поступи в контору садоводства,
садоводом главным поступи.
Чтоб вокруг домов да вокруг кварталов,
затопив долину, все плыла,
птицами свистела, зацветала,
поднимала пену добела
и вставала выше крыш зеркальных
в вечер поздний, в утреннюю рань,
в ягодах медовых и миндальных,
в тополях крутых пирамидальных,
вся в цветах и звездах — Обоянь!

КРАСНОЕ СОЛНЫШКО

* * *

Всю неоглядную Россию
наследуем, как отчий дом,
мы — люди русские, простые,
своим вскормленные трудом.
В тайге, снегами запесенной,
в горах — с глубинною рудой,
мы называли

хлеб казенный
своею собственной едой.

У края родины, в безвестье,
живя по-воински — в строю,
мы признавали

делом чести
работу черную свою.
И, огрубев без женской ласки,
приладив кайла к поясам,
за жизнь не чувствуя опаски,
шли по горам и по лесам,

за все,
 что мы
 на ней построим,
в смертельной битве
 умереть.

...А ты —
 вдали, за синим морем,
грустя впервые на веку,
не посчитай жестоким горем
святую женскую тоску.
Мои пути, костры, палатки
издалека — увидя вблизи,
учись терпению солдатки —
как наши матери звались,—
тоску достойно пересилив,
разлуки гордо пережив,
когда
 годами по России
отцы держали рублики.

* * *

Когда бы мы, старея год от году,
всю жизнь бок о бок прожили вдвоем,
я, верно, мог бы лгать тебе в угоду
о женском обаянии твоём.

Тебя я знал бы в платьицах из ситца,
в домашних туфлях,

будничной,

такой,

что не тревожит, не зовет, не снится,
привыкнув жить у сердца,

под рукой.

Я, верно, посчитал бы невозможным,
что здесь,

в краю глухих, полярных зим,
в распадках горных, в сумраке таежном
ты станешь

красным солнышком моим.

До боли обмораживая руки,
порой до слез тоскуя по огню,
в сухих глазах, поблекших от разлуки,
одну тебя годами я храню.
И ты, совсем живая, близко-близко,
все ласковей, все ярче, все живей,
идешь ко мне

с тревогой материнской
в изломе тонких девичьих бровей.
Еще пурга во мгле заносит крышу
и, как вчера, на небе зорьки нет,
а я уже спросонок будто слышу:
«Хороший мой. Проснись.

Уже рассвет...»

Ты шла со мной по горным перевалам,
по льдинкам рек, с привала на привал.
Вела меня,

когда я шел усталым,
и грела грудь,

когда я замерзал.

А по ночам, жалея за усталость,
склоняясь над изголовьем, как сестра,
одним дыханьем губ моих касалась
и сторожила сон мой до утра.

Чтоб знала ты:

в полярный холод лютый,
в душе собирая горсть последних сил,
я без тебя —

не прожил ни минуты,
я без тебя —

ни шагу не ступил.

Пусть старый твой портрет в снегах

потерян,

пусть не входит мне в комнатку твою,
пусть ты другого любишь,—

я не верю,

я никому тебя не отдаю.

И пусть их,

как назло, бушуют зимы,—

мне кажется, я все переживу,

покуда ты в глазах неугасима

и так близка мне в снах и наяву.

* * *

По ходячей поговорке,
в нашей жизни все не так:
есть бумага — нет махорки,
нет бумаги — есть табак.
И однажды мне, бедняге,
через дальние моря
довелось без бумаги
плыть на север, не куря.
Путь далекий, сердцу тошно,
на табак гляжу с тоской...
И случились, как нарочно,
ваши письма под рукой.
Ваша память, ваше слово,
ваша радость, ваша грусть —
все, что я читал бы снова
и запомнил наизусть...
Вот курю я дни и ночи,
перед сном и после сна,

докурившись, между прочим,
до последнего письма.
И взяла меня досада,
будто к горю моему
вы пришли и сели рядом,
чуть заметная в дыму.
Что бы смог я вам ответить,
как в глаза бы глянуть смог?
Так что спрятал я в кисете
то, последнее, письмо.
Я хранил его годами,
нес за пазухой вперед
через ветер, через пламя,
через речки в ледоход.
На работу брал с собою,
от дождя его берег,
клат под камушек в забое,
клат под спички в коробок.
Каждой ночью незаметно
от воров его скрывал,
будто кровный и заветный,
свой последний капитал.
Будто чудом в самом деле
не рассыпалось оно,

в нем и строчки побледнели,
точки выцвели давно.
Всю далекую дорогу
шел я в сумраке лесном,
сам старея понемногу,
с вашим маленьким письмом.
И минуткой, вновь тоскуя,
вновь глядел спокойно я,
как написано: «Ц е л у ю» —
и подписано: «Т в о я...»

* * *

На рассвете, проходя к забою,
выше гор гляжу я напролет
в ту сторонку с дымкой голубою,
где одна желанная живет.
И, возможно, сам я не замечу,
как всегда в минутку забытья,
я скажу ей, словно бы навстречу:
— С добрым утром, зоренька моя! —
А когда промчится та минута,
взгляд остудит, вроде ветерка,
легче мне бывает почему-то
лом пудовый, острая кирка.
На ветру спокойно сняв рубаху
и с лица не утирая пот,
целый день я молча бью с размаху
вечный камень северных широт.
Бью да так, чтоб кровь кипела в теле,
чтобы дни без памяти летели,

чтобы ночи я как пьяный спал,
чтобы всю разлуку, срок за сроком,
па одном дыхании высоком
так и скоротать мне под запал.
Так, чтобы за дымкой голубою
по забоям шел я без дорог,
чтобы всех забоев, взятых с бою,
ни за что я сосчитать не мог.
Чтобы люди взяли да спросили,
подивясь терпенью моему:
— Как же так, всегда тебе по силе
все, что непосильно одному?
Как же ты такие годы прожил,
столько гор и речек пересек,
на героев вовсе не похожий,
очень невеликий человек?..—
И тогда я в первый раз не скрою,
не ученый тяжкому труду,
думал я, что где-нибудь в забое
от разрыва сердца упаду.
Видно, помогла мне в добром деле
та сторонка с дымкой голубой
тем, что наделила с колыбели
крепкой костью, крепкой головой.

Да еще, спасибо,— с гор Урала
помогла мне женщина одна,
та, что никогда сама не знала,
до чего же сильная она.

* * *

По слухам, поднимаясь из берлоги
и не боясь с мороза околеть,
почти всю зиму бродит по дороге
страдающий бессонницей медведь.
Как будто бы туманными почвами,
в железный холод, в жгучую пургу,
проездом шофера его встречали
на каменном застылом берегу.
Мохнатой лапой обметая плечи,
встав на дыбки,

сквозь вьюгу напролом
идет медведь совсем по-человечьи,
весь запорошен снежным серебром...
Пусть чудеса случаются на свете,
но я ручаюсь все-таки в одном:
в такую зиму кровные медведи —
по доброй воле — спят спокойным сном.

Любой из них и в мыслях не захочет
спускаться с гор к речному рубежу.
По должности своей —

ночной обходчик,
здесь только я дорогу обхожу.
Большую шубу опоясав туже,
похожий на медведя в полумгле,
один я ночью мыкаюсь на стуже
по заполярной,

сказочной земле.

И разве полуночнику такому,
мне может быть отказано судьбой
курить махорку, тосковать по дому,
за тыщи верст беседовать с тобой,
угадывать восходы по приметам,
назло пурге сыграть вперегонки,
сесть на снегу и видеть до рассвета
далеких глаз родные огоньки?

И все-таки не чувствовать обиды
за дикий свой, смешной медвежий вид;
при жизни мы, порой меняя виды,
все так живем, как родина велит.
Опа пошлет то ласково, то строго,
то в холод лютый, то в жестокий зной.

Во все края бежит одна дорога
хранимой нами родины одной.
Она приучит к радостям и бедам,
сама одежду выдаст по плечу,
она прикажет —

я живу медведем,
она велит —

я соколом взлечу.

...И пусть тебе приснится в эту пору
пурга

над белой северной рекой,
по берегу

дорога вьется в гору,
а вдоль по ней,

освистанный пургой,
мохнатой лапой обметая плечи,
в мороз стараясь сердце отогреть,
во весь свой рост

идет по-человечьи
страдающий бессонницей медведь.

* * *

В час вечерний, неурочный,
отдохнув минутный срок,
то на запад еду срочно,
то обратно на восток.
Продолжая нерушимо
вечный грузоперевоз,
день и ночь идут машины
в лютый северный мороз.
Числясь чем-то вроде груза
в документах путевых,
я сажусь в открытый кузов
возле спутников своих.
Испытав за путь-дорогу
сплу разных скоростей,
мы в дороге понемногу
промерзаем до костей.
Мы конца пути не знаем,
свесив головы на грудь,

встречный ветер проклинаям,
вдаль боимся заглянуть.
При случайной неудаче,
голодая, не куря,
мы, как дети, чуть не плачем,
говорим, что едем зря.
В думках грустных и напрасных,
от мороза одурев,
мы полжизни дать согласны
за минутный обогрев...

Вот и снова — в поздний вечер,
за бортом не видя свет,
тормошит меня за плечи
замерзающий сосед:
— Слушай, малый, для артели,
сделай милость, погляди,
не видать ли, в самом деле,
огонечка впереди...—
Многих зорче и моложе,
поднимаясь в свой черед,
я, терпя озноб на коже,
пять минут гляжу вперед.
Губы стужа мне сковала,

у ресниц края во льду,
но с вершины перевала
вся дорога на виду,
все подъемы, все прижимы
возле скальных берегов —
нелюдимы, недвижимы,
без желанных огоньков...
Не желая верить взгляду,
непривычному ко тьме,
я обратно в кузов сяду
с горькой правдой на уме.
И спокойно лгу соседям,
чтобы каждый слышать мог:
— Скоро мы, друзья, приедем,
есть далекий огонек!..—
Сразу стужа станет легче,
сиверок дохнет теплом,
мы слегка расправим плечи,
малость спины разогнем.
Кто-то крикнет ради смеха,
кто-то петь начнет баском...
Можно снова долго ехать
в ожидании таком —
два часа проехать кряду,

сам себе твердя в уме:
«Потеплей прижмись к соседям,
не беда, что путь далек,
скоро, друг, и мы приедем,
есть далекий огонек!»

* * *

Под полярным, вечно хмурым небом
щи едим с казенным черным хлебом,
черный чай от черной грусти пьем,
шубы нараспашку — ходим в стужи,
о далеких женщинах не тужим,
будто нам везде родимый дом.
Будто для кручины нет причины,
а в любовь не верим мы давно,
потому, что это

мы — мужчины,
а у нас уж так заведено:
горе и нужду, жару и вьюгу,
все терпя без жалоб, как в бою,
пипочем не выдавать друг другу
боль свою, кручинушку свою.
Если ж часом вспомним самых милых,
спать не в силах и молчать не в силах,
будто спиртом память оглуша,

вслух назло смеемся и злословим
над лукавым, слабым

тем сословьем,

крепость чья не стоит ни гроша.

Будто мы и знать не знали сроду
губ невинных, непритворных глаз
и, собравшись в ночь ли, в непогоду,

громко вспоминали без прикрас,
как, бывало, разорвав на части
мужних писем белые листки,

чьи-то женки, покоряясь страсти,
в юности бросались к нам с тоски.

Как они дышали в эти ночи

все слышней, все жарче, все короче,
с самым тайным стоном на губах,
с самой сладкой дрожью в жарком теле,

как они в глаза глядеть не смели
в ту минуту — зрячие впотьмах.

И каким бы злым, постыдным словом
мы тебя ни заклеями снова,
как бы ревность сердца нам ни жгла,—
вся,

до тайных родинок знакома,
в душах наших — всюду, словно дома,

ты, как солнце,

женщина, жила.

Нипочем тебе во мгле таежной
наш мужской недобрый наговор.

Все равно, чем дальше, тем дороже
ты, как солнце за горами гор.

Ты, как солнце, ярче станешь рядом,
и навек из нас ослепнет тот,

кто, тебе не веря, жадным взглядом
на тебе хоть пятнышко найдет...

Мы тебя в походных снах ласкаем,
на вершинах скальных высекаем
все твои простые имена,

и в огне горим, и в холод стынем
по горам, по рекам, по пустыням,
горе пьем горстями допьяна,

чтобы нам убиться иль пробиться
к той, по ком душа, как жар, томится,
к той, что сказкой стала...

Потому

не суди нас чистым сердцем строго,
царь-девица,

лебедь-недотрога,

в неприступном дальнем тереме.

* * *

У завода — город,
а меж ними речка,
а над речкой домик с рубленным крыльцом...
Если затоскуешь, выйдешь на крылечко,
сядешь на крылечке к северу лицом.

Будто в доброй сказке, мы почти что рядом,
сердцу все открыто настежь без ключа,—
ночи с переключком, версты с переглядом,
реки по колено, горы до плеча.

Будто все как прежде, мы, как в песне,
близко,
слышим в каждом вздохе каждый перебой,
будто понапрасну ваши металлисты
с интересом тайным ходят за тобой.

Будто между ними нет проходим места,
волосы седеют, а любовь жива.

Будто ждешь, как девка,
любишь, как невеста,
терпишь, как солдатка,
плачешь, как вдова.

Будто все в порядке,— вот пройдут метели,
вот меня уволят, сяду в самолет...
Постучусь в окошко через две недели,
может — через месяц, может — через год.

Может, и взаправду мне не возвратиться,
может, вновь придется долгие года
обживать пустыни, сторожить границы,
уходить в разведки, строить города.

Как назначишь сроки, если часа нету,
если вдруг — работа, если вдруг — война,
если я годами мыкаюсь по свету,
если ты стареешь в домике одна.

Словом, от разлуки нет покамест средства,
снова жди известий с зорьки дотемна,
не жалея, что часто рвется возле сердца
самая тугая, звонкая струна.

Если станет больно — выйдешь на крылечко
на далекий север ласковой взглянуть,
где по горным кручам, по таежным речкам
заметает вьюга мой походный путь.

и до гроба запомнил, как сладок
твой горбом заработанный хлеб.

Пусть в поту от горяцкой науки
ты не смог научиться беречь
молодые, горячие руки,
в вечных ранах и шрамах до плеч.

Пусть, хлебая студеную воду
в полых реках полярных пустынь,
ты бросался в упор ледоходу,
вместе с жизнью спасая мосты.

И ни разу в пожарах и вьюгах
заслужить ты упрека не мог,
будто ты побежал от испуга,
будто в горе друзьям не помог.

Пусть, хрипя, задыхаясь в метели,
через вечный полярный мороз
ты в своем обмороженном теле
красным солнышком душу пронес.

Пусть ты запросто видывал ближе
все, что кажется страшным вдали,

пусть ты вытерпел, выстрадал, выжил
и узнал, что в пределах земли

нет такого врага на примете,
как бы ни был он крепок и смел,
чтобы ты его прямо не встретил
и в бою его не одолел;

нет работы — суровой для тела,
недоступной и тяжелой уму,
чтобы ты ее с честью не сделал,
удивившись себе самому;

и не может не быть, как бывало,
милой женщины, верной такой,
чтоб, как мать, над тобою вставала,
как сестра твоя, шла за тобой.

1943—1956

дышу я, как рыба на жарком песке,
на койке полярной больницы.

И вижу вдали — в полумгле голубой —
над родиной тучи, на родине бой.
В огне золотые мои города,
поля мои дымом повиты,
от тихого Дона до невского льда
в громах не кончаются битвы.

И снова в атаку, штыками грозя,
червонные звезды проносят друзья.
Родные, с кем рос я, работал и жил,
заводы и станции строя,
с кем русых, веселых девчонок любил,
смеясь и страдая порою.

И мнится, что я за бойцами иду,
повязки, как цепи, срывая в бреду.
Кричу я, за строем бросаюсь скорей:
— Я с вами, я с вами, ребята!
Я'долго бежал от полярных морей...
Я друг ваш, а стану за брата...—
Святое молчанье пред битвой храня,
бойцы, улыбаясь, встречают меня.
На каске звезда горяча, горяча...
От тяжести голову кружит,

железною пошей на тонких плечах
мое огневое оружие.

От боли шатаюсь, с бойцами иду,
повязки, как цепи, срывая в бреду.

3

Боюсь я, что поздно свобода придет...
Растает на реках расколотый лед,
раскроют ворота и скажут: — Иди!
И счастье и слава твои впереди...—

Приду я в Россию. Утихла гроза.
Навстречу мне женка прищурит глаза:
— Здорово, соколик! Здорово, мой свет!
А где ты, соколик, шатался сто лет?
Друзья твои прямо прошли сквозь войну
и кровью своей отстояли страну.
Им вечная слава, почет без конца,
а ты, как бродяга, стоишь у крыльца...—

Обижусь на женку, как сыч, загрузу,
по старым квартирам друзей поищу.
— Ни за́ что, ни прó что попал я в беду,
откройте, ребята, я еле бреду.
В груди пересохло, и в горле печет...—
Но вижу в друзьях я большой недочет.

Растут незабудки на бровках могил.
А я вас, ребята, как братьев, любил.
До синих цветов припаду головой,
а мертвые спросят:

— Зачем ты живой?

Ты, видно, в боях не стоял до конца,
что сердце свое уберег от свинца?
Стучит твое сердце набатом в груди,
оставь нас, товарищ... Прощай и иди!..—
Повсюду, повсюду бушует молва,
как немцев грозю разила Москва,

горел Севастополь и Киев страдал.

Шумят, вспоминая бои, города...

Гудят города день и ночь напролет,
в ожогах и ранах пирует народ.

Отставив винтовки, надев ордена,
бойцы отдыхают за чаркой вина.

Мне скажут: — Куда ты идешь, нелюдим?

Садись-ка за стол, посидим — подымим.

Ты выпей вина да похвастай, где был,
незванных гостей по-хозяйски ли бил?

Иль с неба, иль с тылу, иль запросто

в лоб

заморскую сволочь вгонял ты во гроб?..—

ДВЕ ПЕСНИ О МАГНИТ-ГОРЕ

1

Невидимый, невредимый,
силу тайную хранит
в сердце родины тайный
удивительный магнит.
Мне на свете нет покоя,
нет удачи, нет добра —
неотступною тоскою
извела Магнит-гора.
Дальним ветром, тихим зовом
все манит меня к себе,
будто сына дорогого,
непокорного судьбе.
Я не раз бывал измучен,
падал замертво в мороз,
на костре горел горячем,
не пролив и капли слез.
Но припомню город горлый,
весь в огнях в вечерний час,—

хлынут с радости и с горя
слезы теплые из глаз.
Я увижу, как по тропам
росным утром на заре
самым юным рудокопом
я пришел к Магнит-горе.
И, взрывая камень вечный,
день и ночь в земной грозе,
верных верностью сердечной
больше ста имел друзей.
Жил довольный хлебом черным,
в праздник чай кирпичный пил,
вместо доброй и покорной
непокорную любил.
И желанной, нелюбимый,
пел я, строя город мой,
каждым камушком родимый,
каждой гайкою родной.

2

Если я умру без слова,
люди, будьте так добры,
отвезите гроб тесовый
до высот Магнит-горы.

Под утесом положите
и поставьте столб с доской:
«Похоронен старый житель
и строитель заводской».
Дождь польет могилу летом,
и на политом бугре
загорится горицветом
несгораемый багрец.
И воротятся живые,
старой дружбой мне верны,
сталевары, горновые —
бомбардирами с войны.
Над могильником багровым
снимут шапки в тишине,
задушевным тихим словом,
как живому, скажут мне:
— Спи, товарищ, ты недаром
ел на свете пироги,
нашей сталью в громе яром
на смерть скошены враги!..—
И пойдут друзья спокойно
плавить горную руду,
как всегда — готовы к войнам,
к жизни, славе и труду.

Над моим усталым сердцем
пусть же, здравствуя, живет
всю планету громовержцем
потрясающий завод.
Как сердца, стучат машины,
сплав бушует огневой,
и да будут нерушимы
основания его.
Ибо в годы сотворенья
я вложил в них долей тонн —
камень личного граненья,
вечной крепости бетон.

1942

ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ

Получив топор с лопатой
да харчей сухой паек,
он тайгу прошел когда-то
с краю, вдоль и поперек.
В камнях гор и в руслах речек,
по болотам, возле скал,
без дороги, как разведчик,—
летом золото искал.

А зимой

 за крепким чаем
в пору бешеной пурги
часто сиживал ночами
с нами парень из тайги.
Часом жил без хлеба-соли,
от устатку падал с ног,
при любой сердечной боли
песню петь в артели мог.
Мог под снегом спать, как дома,
под дождем костер разжечь,

сбить зимовку в два приема,
на лопате хлеб испечь.

Сам друзей лечил от скуки,
сам мастачил сапоги...

Был он мастер на все руки,
этот царь из тайги.

Но однажды мимоходом
поклонился царь нам,
паспорт взял, долги все отдал
и пошел по всем фронтам.

Год проходит — нет приветов,
два проходит — нет следов...

Не случись тогда газета,
мы не знали б никогда,
как по высшему указу,
не награду, как другим,
целых

три награды

сразу

дали парню из тайги.
Значит, жили мы педаром,
как положено парням,
ели щи с одним наваром,
хлеб делили пополам.

Чай варить — так только вместе,
лес рубить — так только враз,
гадов бить — так честь по чести —
так привык любой из нас.

Каждый понял все науки,
каждый знает, где враги,
каждый — мастер на все руки,
каждый — парень из тайги.

1946

Вправду вырос и стал я солдатом,
но заместо ружья на ремне
были только топор да лопата
непрерывным оружием при мне.

Вправду был я прямым, но нестрашным
и, жулью не прощая обид,
не сдаваясь в бою рукопашном,
крепче всех не единожды бит.

И, по чести проверив как друга,
утирая ладонями пот,
шли со мной до Полярного круга
люди самых суровых работ.

Вправду я умирал и не умер,
голодал, задыхался и дрог.
Вправду стал и грубей и угрюмей
но забыть на минутку не мог
своего незабудного края,
где, старея у старых ворот,
горожанка, меня поджидая,
до сих пор непутевым зовет.

И теперь, пересилив невзгоды,
как хочу я, хотя бы на миг,
не стыдясь за прожитые годы,
к пей прийти и сказать напрямик:

— Если вы не забыли — любите
без упреков, без слез, без причуд...
За таких непутевых да битых —
двух путевых, небитых дают!

1947—1949

* * *

Если долго нет известий,
дни, недели и года,
самым сердцем с жизнью вместе —
береги меня всегда.

Если, вспомнив между прочим,
люди спросят обо мне,
поспокойней, покороче
ты скажи им:

— На войне...

Если пища станет горькой,
день тоскливей,
ночь грустней,
на минутку перед зорькой
ты встречай меня во сне.

Если бой тебе приснится,
бой кровавый,
смертный бой,

разомкни скорей ресницы
и припомни голос мой.

Если в праздник на пирушке
посоветуют:

— Забудь...—

Ты не трогай с пивом кружки,
песни пой и трезвой будь.

Если вьюга-непогода
в ночь завьется до утра,—
пособи мне мимоходом
обогреться у костра.

Если голод ты знавала —
пожелай мне в час еды
долгожданного привала,
хлеба, соли и воды.

Если гром сосну расколет,
дождь затопит все пути,—
повели мне в чистом поле
куст калиновый найти.

Если я паду в дороге,—
я почувствую в крови
все заботы и тревоги,
и желания твои.

Пересиливая муку
в полудреме и в бреду,
положу на сердце руку,
тихо встану и пойду.

1947—1949

**ПРАВДА В ПЕСНЕ,
ЧТОБЫ МАТЬ НЕ ЗНАЛА**

В голодный час, напомнив о знакомом,
манят меня к себе издалека —
«звезда полей над ветхим отчим домом
и матери печальная рука».

Покрыв седины старым полушалком,
за двери дома тихо выйдет мать,
последний хлеб подаст она гадалкам
и обо мне попросит погадать.

И скажут ей:

— Гнездо родное свято,
храни, голубка, кровлю и еду...
Всегда на волю рвутся голубята,
покамест не нарвутся на беду.

А в мире вольном голод плечи сушит,
костер войны пылает до небес,

на землю птицы падают от стужи
и злых людей

непроходимый лес.

И, опалив в краях далеких перья,
не в силах жар и холод перенести,
придет твой сын,

как нищий стукнет дверью
и на пороге тихо спросит есть.

Пшеничный корм наполнит кровью жилы,
железной крышей сын покроет дом.

И станет жить — легко, как деда жили,
засыпав к зиме горницу зерном.

И пусть сто туч плывет с огнем и громом —
железной крыши им не поломать...

Горит звезда полей над отчим домом,
от добрых слов

устало дремлет мать.

Я не сомну последний цвет на грядке,
усталых птиц не трону на лугу —
и в белых письмах, ласковых и кратких,
не в первый раз, родимая, солгу.

Я напишу, что жду в делах успеха,
живу пока в достатке и в чести,
что собираюсь к осени приехать,
из города невесту привезти.

Но промолчу о голоде и ранах,
о снежных ветрах, выстудивших грудь,
что далеко у моря-океана
от боли мне спокойно не заснуть.

И не скажу ни слова о метели,
что билась в окна зиму напролет,
что смерть сидела нянькой у постели
и вместо чаю подавала лед.

Что ни добра, ни хлеба мне не надо,
не надо зерен, павших без следа,
и в отчий дом с тесовою оградой,
копечно, не вернусь я никогда.

И с мертвыми лежавший долго рядом,
без солнышка, без ласки, без цветов,
в весенний день,

дыханием и взглядом
почуяв силы, с радостью готов —
в грозный мир, где голод плечи сушит,

становя во дворе заводском,
зяб ты с нами и парился с нами
на ветру,

комсомольский Горком.

В пору фронта, не мысля о тыле,
промедление ставя в вину,
словно в песне

и мы уходили...

Комсомольцы твои... На войну!

Сгоряча не жалеющих силы,
нас, порою обжатых врагом,
будто чудом — спасал от могилы
твой металл,

комсомольский Горком.

Тылом битвы, как видно, недаром
оставался ты, мир сторожа.

Был строителем.

Стал сталеваром.

Стал броней для своих горожан.
Не стареет душа в человеке,
если шел он с тобой прямиком...
Побратался ты с нами навеки,
дорогой комсомольский Горком.

Сколько душ

снарядил ты в дорогу,
вывел к Партии — в люди, в бой!

И, сменяясь в рядах понемногу,
молодеют отряды твои.

Значит, здравствуй на радость и славу,
в каждом сердце гори огоньком,
молодой, но партийный по нраву,
старый друг, комсомольский Горком.

1958

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Поэма

Какой бы пламень гарью нас ни метил,
какой бы пламень нас ни обжигал,
мы станем чище, мы за все ответим —
чем крепче боль,

тем памятней закал.

...И я живу, не жалуясь на долю,
в пустыне, за полярною чертой,
привыкший к баням с ледяной водою,
привыкший к жизни трудной и простой.
Здесь — все пути-дорожки перевиты,
здесь — каждый вор отныне мне знаком,
здесь — битые, матерые бандиты,
раздобрившись, зовут меня «сынком».
И, не глухой к соседским разговорам,
я про себя нередко слышу сам:
«Парнишка, видно, был неважным вором,
в своей деревне лазил по дворам.
Уж больно заморенный он и слабый,
как захудалый пес промеж зверей,—
его, наверно, шибко били бабы
за масло, за сметану, за курей...»

В беде своей — суровы, нелюдимы,
измерив жизнь на свой кривой аршин,
не верят люди в честные седины,
не замечают чистый след морщин.
...Отпела песни юность.

Отмечталась.

Ушла моя жар-птица в перелет.
Уже сжимает чувства возмужалость
и сдержанность, холодная как лед.
Старухой стала девка-синеглазка,
в живой воде целебный дар исчез,
и не хватило хлеба старым сказкам,
чтоб верить им и требовать чудес.
И словно вовсе не было любимых,
живых девчат, не спящих до утра.
И надо вспомнить весны мне и зимы,
и подсчитать года свои пора...

1

Рожденный при царе, крещен в купели
в доме столетнем прадедов своих,
где входят в кровь, как воздух,
с колыбели —
желания, повадки, сказки их;

где по ночам — мы жались первым
страхом —

выл домовой,

яга стучалась в дом,
змея пролетал над крышей и с размаху
хлестал по окнам огненным хвостом;
где нам, мальчишкам, бабки нагадали:
по золотым жар-птицыным следам
за самым верным счастьем рваться в дали
к премудрым людям, к дивным городам;
людские притчи помнить слово в слово,
пройти всю землю вдоль и поперек,
добыть в бою —

из золота литого
заветный, непродажный перстенок.

С ним — яд не травит,

горе не калечит,
над ним — ни жар, ни стужа не вольны,
не страшно с ним идти врагам навстречу
и в мирный день, и в черный день войны.

С ним — год от году

ясный глаз яснее,
спокойней сердце,

жилистей рука,

по-русски настежь раскрывая дом,
любому гостю веря без боязни,
что он к тебе приходит не врагом.
Привычно наделяя черным цветом
бесцветное, слепое слово —

«враг»,

мы понимали, что живет он где-то,
со всех границ рванувшись к нам на шаг.
Готовый юность выжечь, как проказу,
и не жалеть каленого свинца
для нас,

еще не видевших ни разу
ни рук его, ни взгляда, ни лица.
Владея, будто змей, заморским миром,
он для убийц царем и богом стал.
Он звался —

папой, фюрером, банкиром
и величался оптом —

капитал.

Казалось нам,
по первому ненастью,
по страшным сказкам с детства он знаком —
с железной головой, с дремучей пастью
и с огненным заморским языком.

в забоях засыпая нас по груди,
леса со стен срубая по ночам.
Он полз, как вор, под нашей тенью кроясь,
на золото считая барыши
за пролитую каплю нашей крови,
за муки каждой травленной души.
Он в праздники садился с нами вместе,
знал беды наши, вкусы, имена.
И если не хмелели мы от лести,
вином своим поил нас допьяна.
И в городе,

омытом нашим потом,
от наших спящих жен невдалеке,
он песни пел нам по заморским нотам
на задумевном нашем языке:
о городах, которых мы не знали,
о славе неизвестных нам знамен,
о золоте, дороже нашей стали,
о женщинах, прекрасней наших жен.
...Разведчик смерти.

Рано или поздно.
Вернее, поздно. И не к чести нам.
Он будет понят, пойман и опознан
и, как убийца, скручен по рукам.

однажды пережить такую ночь,
когда любимый город огоньками
из-за окна не сможет нам помочь;
как горько нам —

под стражею в этапах
по родине пройти в июльский день,
почувствовать лугов медовый запах,
увидеть крыши отчих деревень...

3

Полярный ветер. Сопки голубые.
Тиха в снегах тайга.

Текли года.

Друзья меня, возможно, позабыли,
но я не забывал их никогда.
Я вижу их в работе и в сраженьях,
идущих с честью по земле родной,
их красота душевным отраженьем
не гаснет ни на час передо мной.
И мне ли не грустить о них до боли —
в пустыне, где глаза слепят снега,
где трудно жить собратом поневоле
для всех сынков и пасынков врага.
В одном бараке видеть их с собою,

помочь по-братски, забывая все,
своим кайлом в нетронутом забое
на ужин заработать им хлеб-соль.
Последней папиросою делиться,
своим теплом спастись от зимних стуж
и, видя их улыбочивые лица,
знать все узлы змеиных длинных душ.
Как мертвецы — без чести, без опаски,
считая адской пыткой черный труд,
со всех своих страстей теряя маски,
здесь юности ничьей не берегут.
Здесь каждый вечер, расслабляя плечи,
гася сиянье глаз и свежесть лиц,
как ржа, травило душу человеческую
звериное безверие убийц.
Ни памятью, ни жаждой, ни мечтою
не зная ни к чему людской любви,
они плевали на мое святое,
на все, чем жизнь текла в моей крови.
Они грозили:

— Сдохнешь с нами рядом.
Забудь свободу. Будь как битый зверь.
Ни родине, ни матери, ни братьям
ты, нашей метой меченный, не верь! —

Как против хвори,

жутче, чем холера,
всю кровь мою бросала к сердцу вдруг
рабочая неистовая вера
во все,

что сам я строил парой рук.

А руки знали —

есть на свете первый
мой город — без крестов и без икон,
есть дом родимый,

есть мой символ веры —
родным народом писанный закон.

Его кляли убийцы и бандиты,
срамили воры в страхе и тоске.

Но я дышал той верой, даже битый,
живя среди них, как ершик на песке.

Вот здесь пришлось мне

с юностью проститься
и в первый раз со зрелостью бойца
не раз и два, а двадцать раз и тридцать
вновь пережить, продумав до конца
труды и муки,

радости и встречи,
всей жизни каждый шаг и каждый миг,

огонь бессилен, стужа нипочем,
не страшно с ним идти врагам навстречу,
друзей надежных чувствуя плечом.
С ним год от году каждый взор яснее,
спокойней сердце, жилистей рука,
с ним — человек

в сто раз сильнее змея,
в сто раз бесстрашней лютого врага.

4

Не может быть,

чтоб силою отгула
родных гудков, их вечного «Пора!»
по-матерински нас не притянула
к груди своей Магнитная гора.
И, как солдаты, после битв живые,
испытанные болью огневой,
пройдя все испытанья силовые,
мы возвратились в вечный город свой.
Великий город, непокорный бурям,
своим трудом построенный навек,
свой — без церквей,

без кабаков,

без тюрем,

без нищих,

без бандитов,

без калек.

Железный город. Богатырь на страже.

Работой дни и ночи занятой,

поднявшийся над всею злобой вражьей
стальной

творимой

вечно высотой.

Здесь, как огонь, сердца людские чисты
и крепостью похожи на руду.

Здесь мы всю жизнь живем как коммунисты,
по радости, по чести, по труду...

На холоде ладони разогреем
в руках друзей-товарищей своих,
по всем цехам, забоям, батареям,
на всех углах площадок заводских.

И до утра не в силах распроститься,
смутив себя, присядем у стола,
дивясь тому, что детских снов жар-птица
когда-то нашей юностью была.

Спасибо ей — за сказку в колыбели,
за первую изведенную страсть,
за то, что заставляла рваться к цели

без страха заблудиться или пасть.
За то, что жаждой мучила немало,
лишала нас еды, терпенья, сна,
когда для взлета крыльев не хватало,
а улица казалась нам тесна.
Но не забудем —

пустоцвет во взгляде,
когда, глазами избегая тьмы,
мы гордо жили, в тень свою не глядя,
и только в муках прозревали мы.
И враз поймем, что мы совсем не дети,
и наши раны пот соленый жжет,
и не было

и нет

жар-птиц на свете —
есть наша воля

жить на полный взлет.

И мы — почти что веку одnogодки —
про юность песни вечные споем,
за юность нашу вышьем доброй водки
в последний раз... И чарки разобьем.

1943—1959

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Л. Гальцева. «Жить на полный взлет» . . . 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ю н о с т ь

Стихи первому другу	29
Слово мастеру Джемсу	36
Ровесники получают премии	40
Дополнение к анкете	44
«За щучьим Тоболом, за волчьей тайгой...»	49
Сказка о синем самолете	54
Мой июль	58
История орла, скалы и речки	61

С о л о в ь и н а я п о р а

Песня о брезентовой палатке	65
Свидание	70
«Снова песня про сыву зозулю...»	73
Проводы Валентины	78
Тополь	83
Стихи о первой любви	86
Весна	90
Обоянка	94

Красное солнышко	
«Всю неоглядную Россию...»	98
«Когда бы мы, старея год от году...»	101
«По ходячей поговорке...»	104
«На рассвете, проходя к забюю...»	107
«По слухам, поднимаясь из берлоги...»	110
«В час вечерний, неурочный...»	113
«Под полярным, вечно хмурым небом...»	118
«У завода — город, а меж ними речка...»	121
«Так сбываются сказки в России...»	124
Стихи разных лет	
Стихи о далеких битвах	127
Две песни о Магнит-горе	132
Парень из тайги	136
«В дальнем детстве, в немыслимой сказ- ке...»	139
«Если долго нет известий...»	143
Правда в песне, чтобы мать не знала	146
Наш комсомольский Горком	150
ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ. Поэма	155

Ручьев Б. А.

Р92 Стихи. / Предисл., сост. и подгот. текста Л. Гальцевой.— М.: Худож. лит., 1981.— 174 с. (Б-ка советской поэзии).

В сборник известного советского поэта Бориса Ручьева (1913—1973) входят лучшие лирические стихотворения из книг «Вторая родина», «Соловьиная пора», «Красное солнышко» и других, а также поэма «Прощанье с юностью».

Основная тематика произведений поэта — становление нового рабочего характера в условиях созидательного коллективного труда.

Р 70402-214
028(01)-81 — 70-81

Р2

Борис Александрович

Ручьев

СТИХИ

Редактор *В. Ефремов*

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

О. Ярославцева

Корректоры *А. Влазнева,*

М. Макарова

ИБ № 2208

Сдано в набор 11.11.80. Подписано
к печати 20.03.81. А06743. Фор-
мат 84×108¹/₆₄. Бумага типогр.
№ 1. Гарнитура «Обыкн. новая».
Печать высокая. 4,62+1 вкл.=4,646
усл. печ. л. 6,326 усл. кр. отт.
4,758+1 вкл.=4,805 уч.-изд. л.
Тираж 25 000 экз. Изд. № III—69.
Заказ 317. Цена 65 коп.

Ордена Трудового Красного Зна-
мени издательство «Художествен-
ная литература», 107882, ГСП,
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Книжная фабрика «Жовтень»
РПО «Полиграфкнига», Госкомиз-
дата УССР. Киев, ул. Артема, 25.

